

Кошкин стол

Автор:

Майкл Ондатже

Кошкин стол

Майкл Ондатже

Литературные хиты: Коллекция

1950-е годы, Коломбо. Одиннадцатилетний мальчик по имени Майкл поднимается на корабль, который должен отвезти его в Англию. Пересекая на его борту воды Индийского океана, он переживет первое настоящее погружение во взрослый мир.

«Кошкин стол» восхитительно незамутненными детскими глазами показывает настоящее британское общество изнутри, со всеми его друзьями, врагами, детьми, взрослыми, семьями, одиночками, артистами, миллионерами, разбойниками, с его интригами, интрижками, тайнами и разгадками. И пожалуй, именно это увлекательное путешествие станет для мальчика началом путешествия во взрослую жизнь.

Майкл Ондатже

Кошкин стол

Квинтину, Гриффину, Кристин и Эсте, Энтони и Констанс

Так я вижу Восток. Я вижу его всегда с маленькой шлюпки... ни огонька, ни шороха, ни звука... Мы переговаривались шепотом – тихим шепотом, словно боялись потревожить землю... Он открылся мне в то мгновение, когда я – юноша – впервые взглянул на него. Я пришел к нему после битвы с морем.

Джозеф Конрад. Юность[1 - Пер. А. Кривцовой.]

Michael Ondaatje

THE CAT'S TABLE

Copyright © 2011 by Michael Ondaatje

В оформлении обложки использована фотография:

© Olga Gavrilova / Shutterstock.com.

Используется по лицензии от Shutterstock.com.

© Глебовская А., перевод на русский язык, 2021

© ООО «Издательство «Эксмо», 2021

* * *

Он отмалчивался. Всю дорогу смотрел в окно машины. Взрослые на переднем сиденье негромко переговаривались. Можно было послушать о чем, но ему не хотелось. Там, где дорогу залило, – что случилось во время разлива реки, – он слышал плеск воды под колесами. Въехали в Форт, машина неслышно скользнула мимо здания почты, мимо часовой башни. В этот ночной час движение на улицах Колумбо почти замерло. Они проехали по Рекламейшн-роуд, миновали церковь Святого Антония, показались последние лотки с едой – каждый освещала единственная голая лампочка. Въехали на широкое темное пространство порта, где лишь вдали, у причалов, тянулись цепочки огней. Он вышел и встал рядом с теплым боком машины.

Было слышно, как в темноте тьякают беспризорные портовые псы. Почти все вокруг оставалось невидимым, за исключением того, что вырисовывалось в рассеянном свете немногочисленных серных ламп: погрузчики, тянувшие тележки с багажом, сбившиеся в кучки семьи. И вот все они пошли в сторону трапа.

В ту ночь, когда он, ничего еще не знавший о мире, поднялся на борт первого и единственного в своей жизни судна, ему было одиннадцать лет. Казалось, к берегу примыкал целый город, освещенный лучше любой деревни или поселка. Он прошагал по трапу, глядя только под ноги – над головой ничего не существовало, – и шел, пока перед глазами не остались лишь погруженные во тьму гавань и море. Вдали угадывались очертания других судов, там постепенно загорались огни. Он стоял в одиночестве, приюхиваясь, потом сквозь шум и толчею возвратился на тот борт, что был обращен к причалу. Желтоватое мерцание над городом. Ему казалось, что между ним и всем, что там происходит, успела вырасти стена. Стюарды уже разносили еду и напитки. Он съел несколько бутербродов, потом спустился в каюту, разделся и юркнул в узкую койку. Он никогда еще не спал под одеялом, вот разве что один раз в Нувара-Элие. Сон не шел. Кюта находилась ниже ватерлинии, иллюминатора в ней не было. Он нашарил возле изголовья выключатель, нажал; голова и подушка внезапно оказались в конусе яркого света.

Он не пошел на палубу в последний раз глянуть на берег или помахать родственникам, которые привезли его в порт. Он слышал пение, воображал сперва медлительное, потом торопливое прощание с родными, происходившее в звенящем ночном воздухе. Я и сейчас не могу сказать, почему он выбрал одиночество. Может, те, кто привез его на «Оронсей», уже отбыли? В кино родственники отрываются друг от друга с рыданиями, судно отчаливает, и пассажиры жадно вглядываются в удаляющиеся лица, пока еще можно разглядеть хоть что-то.

Я пытаюсь представить, кем был этот мальчик тогда, на борту судна. Напряженно застыв на узкой койке, он, возможно, еще и вовсе не осознавал себя, этот зеленый кузнечик или крошечный сверчок, которого некая внешняя сила внезапно оторвала от дома и, не спросив, швырнула в будущее.

Он проснулся рывком – его разбудила беготня пассажиров по коридорам. Одедся, вышел из каюты. Что-то происходило. В ночи разносились пьяные вопли, их перекрывали крики команды. В центральной части второй палубы матросы

пытались изловить портового лоцмана. Он добросовестно вывел судно из гавани (где нужно было искусно лавировать между островами затонувших кораблей и старым волнорезом), а потом, празднуя свое достижение, выпил лишнего. Теперь же, похоже, не хотел сходить с борта. Пока не хотел. Еще часик-другой здесь, на вашем судне. А «Оронсей» должен был выйти в открытое море ровно в полночь, лоцманский катер дожидался у ватерлинии. Матросы попытались было столкнуть лоцмана вниз по веревочному трапу, но, поскольку он мог упасть и разбиться насмерть, решено было заловить его в сети и аккуратно спустить. Лоцман, похоже, не испытывал ни малейшего смущения, в отличие от представителей судовой компании «Ориент», которые стояли на мостике в белых кителях и белые от бешенства. Когда катер отчалил, пассажиры закричали «ура!». Гул двухтактного двигателя и заунывное пение лоцмана постепенно стихали – катер уходил в ночь.

Отплытие

Что же было в моей жизни до этого судна? Выдолбленный из бревна челнок на реке? Катер в гавани Тринкомали? На нашем горизонте постоянно маячили рыбачьи лодки. Но я и вообразить себе не мог все великолепие этого дворца, на котором мне предстояло пересечь океан. До того самыми долгими странствиями в моей жизни были поездки на автомобиле в Нувару-Элию и на Хортон-Плейнз, да поезд в Джафну: мы сели на него в семь утра, а сошли в середине дня. В это путешествие мы взяли с собой бутерброды с яйцом, кунжутные шарики – талагули, колоду карт и приключенческую книжку для мальчиков.

А тут вот было принято решение, что я поплыву морем в Англию, причем поплыву один. Никто не предупредил меня, что затея эта несколько необычная, что меня ждут приключения и даже опасности, поэтому я не испытал заранее ни радости, ни страха. Меня не предупредили, что на судне будет шесть палуб, что на нем будут находиться свыше шестисот человек, включая капитана, шестерых поваров, механиков и ветеринара, что на борту будет небольшая тюрьма и хлорированные бассейны, которые пересекут вместе с нами несколько океанов. Тетя небрежно пометила в календаре дату моего отплытия и предупредила школу, что я уйду в конце полугодия. О том, что мне предстоит провести три недели в море, говорили как о чем-то совершенно обыденном, – собственно, я даже удивился, узнав, что родственники поедут провожать меня в порт. Я полагал, что сам сяду на автобус, а потом пересяду на другой в Борелле.

Впрочем, одна попытка познакомить меня с будущей жизнью на борту все же была предпринята. Оказалось, что некая дама по имени Флавия Принс, муж которой был знаком с моим дядюшкой, плывет на том же судне, и вот однажды ее пригласили на чай и представили нас друг другу. Выяснилось, что она путешествует первым классом, тем не менее она пообещала присмотреть за мной. Я пожал ей руку – осторожно, так как рука была унизана кольцами и браслетами, после чего миссис Принс отвернулась, дабы продолжить прерванный мною разговор. Потом я битый час прислушивался к беседе нескольких своих дядьев и считал, сколько бутербродов-канапе они съели.

В последний день перед отъездом я отыскал в школе пустую экзаменационную тетрадку, карандаш, точилку, перерисованную карту мира – и сложил все это в свой чемоданчик. Вышел из здания, попрощался с генератором, выкопал детали от радиоприемника, который когда-то разобрал, не смог собрать и зарыл на газоне. попрощался с Нараяном, попрощался с Гунепалой.

Уже в машине мне объяснили, что мне предстоит пересечь Индийский океан, Аравийское и Красное моря, пройти по Суэцкому каналу в Средиземное, а потом в одно прекрасное утро мы пришвартуемся в маленькой гавани в Англии и там меня встретит мама. Меня сильнее всего взволновали не дальность и романтика путешествия, а то, как же мама узнает, в какой именно день я прибуду в эту незнакомую страну.

И придет ли она меня встречать.

* * *

Я услышал, как под дверь подсовывают записку. В ней значилось, что мое место в ресторане находится за столом номер семьдесят шесть. Вторая койка в каюте так и стояла неразобранной. Я оделся и вышел. К трапам я не привык и лазил по ним с опаской. На верхней палубе темно и ни души; я стал дожидаться бледного рассвета. Перебрался на корму, посмотрел вдаль. Повсюду расстилалось море.

В ресторане «Балморал» за столом номер семьдесят шесть сидели девять человек, среди них – двое мальчиков примерно моих лет.

– Мы, похоже, попали за «кошкин стол», – проговорила дама по имени мисс Ласкети. – Самое что ни на есть затрапезное место.

Было более чем очевидно, что мы сидим очень далеко от капитанского стола, расположенного в противоположном конце зала. Одного из мальчиков за нашим столом звали Рамадином, а второго – Кассием. Первый сидел тихо, второй смотрел вызывающе, и мы подчеркнuto не замечали друг друга, хотя Кассия я узнал. Мы учились в одной школе, он был старше меня на год и слыл отъявленным хулиганом – однажды его даже исключили на полгода. Я был уверен, что разговоримся мы не скоро. Зато мне понравилось другое: за столом сидело несколько интересных взрослых. Например, садовник, а еще портной, у которого был в Канди собственный магазин. А самое потрясающее – среди нас был пианист, который жизнерадостно признался, что «катится по наклонной».

Звали его мистер Мазаппа. По вечерам он играл в корабельном оркестре, днем давал уроки фортепьяно. За это ему сделали скидку на билет. Он часто усаживал нас с Рамадином и Кассием послушать истории из его жизни. Именно в обществе мистера Мазаппы, который потчевал нас непонятными и зачастую неприличными песенками, мы постепенно все-таки сошлись. Потому что, вообще-то, все мы трое были скованны и застенчивы. Даже отказывались кивать друг другу, пока мистер Мазаппа не взял нас под свое крыло и не сказал: держите, мол, глаза и уши нараспашку, это путешествие многому вас научит. Словом, к концу первого дня пути мы сообразили, что проявлять любопытство можно и всем вместе.

Еще одним примечательным персонажем за «кошкиным столом» был мистер Невил, который до выхода на пенсию занимался демонтажем кораблей, а теперь, после скольких-то лет на Востоке, возвращался домой в Англию. Мы сразу же оценили этого крупного добряка, ибо он прекрасно разбирался в устройстве различных судов. Ему довелось демонтировать многие знаменитые корабли. В отличие от мистера Мазаппы, мистер Невил был скромником, и на разговоры о прошлом склонить его было непросто, разве что вы знали, как именно его лучше подначить. Если бы он не отвечал на наши бесконечные вопросы с такой неподдельной скромностью, мы бы не поверили ни единому его слову и нам не было бы так интересно.

Кроме того, на нашем судне для него были открыты все двери, ибо он исследовал по заданию судовой компании «Ориент» какие-то вопросы безопасности. Он представил нас обитателям машинного отделения и

котельной, и мы смогли посмотреть, что там происходит. В отличие от первого класса, машинное отделение, расположенное на адском уровне, гудело и сотрясалось от непереносимого грохота и жара. Двухчасовая прогулка по всем закоулкам «Оронсея» в сопровождении мистера Невила выявила все опасные – и не слишком опасные – места. Он объяснил нам, что подвешенные в воздухе спасательные шлюпки только кажутся опасными, после чего мы с Кассием и Рамадином повадились туда залезать: очень уж удобно было из них шпионить за пассажирами. Собственно, замечание мисс Ласкети, что место у нас «самое затрапезное», убедило нас – совершенно справедливо, – что важные персоны, такие как пассажирский помощник, старший стюард и капитан, нас попросту не замечают.

Я внезапно обнаружил, что на борту находится Эмили де Сарам, моя дальняя родственница. К сожалению, ее не посадили за «кошкин стол». В течение долгих лет именно с помощью Эмили я узнавал, что обо мне думают взрослые. Я рассказывал ей о своих приключениях и выслушивал ее мнение на этот счет. Она честно говорила, что ей нравится, а что нет, а поскольку она была старше, я всегда ей верил и поступал соответственно.

У меня не было ни братьев, ни сестер, так что в детстве из родни меня окружали одни взрослые. Целая когорта неженатых дядюшек и томных тетюшек, за которыми неизменно тянулся шлейф сплетен и собственной значимости. Был у нас один богатый родич, который старательно держался на расстоянии. Его никто не любил, но все уважали и постоянно о нем говорили. Рождественские открытки, которые он добросовестно присылал каждый год, подвергались скрупулезному анализу, равно как и лица его все подраставших детей, и размеры его дома, высившегося на заднем плане: бессловесное хвостовство. Таковы были представления, внушенные мне в семье, и, пока я не оторвался от родных, они заставляли меня быть осмотрительным.

Но в моей жизни всегда была Эмили, моя «машанг», несколько лет прожившая со мной почти дверь в дверь. Детские годы наши прошли одинаково – в том смысле, что родители у обоих постоянно были либо в отлучке, либо в расстройстве. Полагаю, что ей жилось даже тяжелее, чем мне, – дела у ее отца все не налаживались, и домашние жили под постоянной угрозой его гнева. Из скупых рассказов Эмили я знал, что он отличается строгостью. Даже взрослые гости чувствовали себя рядом с ним неуютно. Только дети, оказывавшиеся в доме ненадолго, на праздновании какого-нибудь дня рождения, извлекали удовольствие из его непредсказуемости. Он, бывало, забежит, расскажет что-

нибудь веселое, а потом покидает всех нас в бассейн. Он частенько уезжал по делам, а то и попросту исчезал. Эмили в его присутствии всегда замыкалась, даже когда он ласково обнимал ее за шею и кружил в танце, поставив ее босые ноги себе на ботинки.

Надежной путевой карты Эмили так и не попало, так что ей пришлось, как я полагаю, самой прокладывать себе путь. Была она вольной в мыслях – мне нравилась ее бесшабашность, – хотя я всегда боялся, что добром это не кончится. По счастью, в конце концов бабушка оплатила ее учебу в пансионе на юге Индии, чтобы она смогла уехать от отца. Я скучал по ней. Даже когда она приезжала на каникулы, виделись мы не так уж часто, поскольку она пошла работать в «Цейлонский телефон». Утром за ней приезжала служебная машина, а вечером ее босс мистер Виджибаху привозил ее обратно. У мистера Виджибаху, как поведала мне Эмили, по слухам, было три яичка.

Сильнее всего нас сближала ее коллекция пластинок – все эти судьбы и чаяния, зарифмованные и наструганные на бруски по две-три минуты. Герои-углекопы, чахоточные девицы, квартирующие над лавками ростовщиков, золотоискатели, знаменитые игроки в крикет и даже заявления, что, мол, бананов больше не осталось[2 - «Yes! We Have No Bananas» – популярная песня Фрэнка Сильвера и Ирвинга Кона из бродвейского ревю «Make It Snappy» («Давайте-ка поживее», 1922).].

Эмили ввела меня в этот удивительный мир и показала, как танцевать, как держать ее за талию, пока она поводила поднятыми руками, как прыгать на диван и через диван – пока он не покачается и не рухнет под нашей тяжестью. А потом она внезапно исчезала, возвращалась в школу, в Кочин, и о ней не было ни слуху ни духу, за вычетом нескольких писем к матушке, в которых она просила присылать ей через бельгийское консульство побольше пирожных, – писем, которые папенька ее насильно зачитывал вслух всем соседям.

К тому моменту, когда Эмили поднялась на борт «Оронсея», мы не виделись два года. Она изумительно переменилась – стала красивее, похудела с лица, в ней проступила грация, которой я раньше не замечал. Я решил, что школа, увы, поумерила ее бесшабашность, зато говорила она теперь с легким кочинским акцентом, и это мне нравилось. Она схватила меня на прогулочной палубе за плечо – я как раз пробежал мимо – и завела разговор, дав мне тем самым тайное преимущество перед новыми приятелями. Однако по большей части она явственно давала понять, что не ищет моего общества. У нее были на это

путешествие свои планы – насладиться последними неделями свободы, перед тем как на два года поступить в английскую школу.

Дружба между тихоней Рамадином, хулиганом Кассием и мной быстро крепла, хотя мы по-прежнему многое утаивали друг от друга. По крайней мере, я утаивал. Левая моя рука никогда не знала, что я держу в правой. Жизнь успела научить меня осмотрительности. В своих школах-интернатах все мы жили в страхе перед наказанием и превращались в искусных лжецов – я научился по мелочи скрывать правду. Оказывается, далеко не всех можно принудить наказанием к абсолютной честности. Нас постоянно секли за дурные оценки и прочие проступки (трехдневная отлежка в лазарете с выдуманной свинкой, непоправимо испорченная школьная ванна, где мы разводили чернила для старшеклассников). Главным палачом был завуч начальных классов отец Барнабус – он до сих пор блуждает по задворкам моей памяти, вооруженный измахренной бамбуковой тростью. Уговоры или воззвания к здравому смыслу – это все было не для него. Он просто ходил меж нас как воплощенная угроза.

А вот на «Оронсее» не нужно было следовать никаким правилам, и я погрузился в воображаемый мир собственного сочинения, где жили корабельщики, портные и другие взрослые пассажиры, которые во время вечернего празднества ковыляли по палубе, напялив на себя гигантские звериные головы, танцевали с женщинами, на которых почитай что не было юбок, – а все музыканты из судового оркестра, включая мистера Мазаппу, были облачены в одинаковые костюмы сливового оттенка.

* * *

Поздно вечером удостоенные особой чести пассажиры первого класса покидали капитанский стол; танцы уже закончились – под конец танцоры сняли маски и едва двигались в объятиях друг у друга, – а стюарды, убравшие пустые бокалы и пепельницы, опирались на метровой ширины швабры, которыми предстояло вымести обрывки цветной бумаги; тут-то и выводили узника.

Как правило, дело было ближе к полуночи. Палуба сияла, залитая светом луны. Он появлялся со стражниками: один скован с ним наручниками, другой, с дубинкой, шагает сзади. Мы не знали, что он натворил. Полагали, что совершил убийство – что же еще? Более сложных разновидностей преступления – на почве

ревности или политики – для нас тогда еще не существовало. Заключение было мучительно, замкнут и ходил босиком.

Распорядок этих полночных прогулок открыл Кассий, и в должный час мы всегда оказывались на месте. Про себя мы думали: узник может прыгнуть через леер, вместе с прикованным к нему стражником, прямо в темное море. Представляли, как он возьмет разбег и ринется навстречу смерти. Полагаю, мы думали так, поскольку были еще совсем юными, – сама мысль о прикованности, о заключении была подобна нехватке воздуха.

В свои одиннадцать лет мы не могли с этим смириться. Мы с трудом заставляли себя надеть перед ужином сандалии и каждый вечер в «Балморале» всё представляли себе, как босоногий узник в своей темнице поглощает объедки с железной миски.

* * *

Ради визита в устланную коврами гостиную первого класса, где я должен был повидаться с Флавией Принс, мне предписали одеться соответствующим образом. Флавия Принс, почти полностью мне чужая, пообещала перед отъездом за мной присмотреть, хотя, по правде говоря, виделись мы на протяжении путешествия лишь несколько раз. И вот она пригласила меня на чай, причем в записке упоминалось, что мне надлежит надеть чистую отглаженную рубашку, а кроме того, носки. Я пунктуально объявился в баре «Веранда» ровно в четыре часа пополудни.

Поначалу она смотрела на меня, будто в подзорную трубу, вроде как и не подозревая, что я вижу выражение ее лица. Сидела она за маленьким столиком. С ее стороны последовала отчаянная попытка поддержать разговор, чему не слишком способствовали мои нервные односложные ответы. Не страшно ли мне тут? Нравится ли мне плавание? У меня появились друзья?

Целых двое, ответил я. Одного зовут Кассий, а другого Рамадин.

– Рамадин... Из мусульманской семьи, они еще в крикет играют?

Я ответил, что не знаю, но обязательно у него спрошу. Собственно, мой Рамадин для крикета не годился, он был настоящим тьюфом. Обожал сладости и сгущенное молоко. Припомнив об этом, я сунул в карман несколько печений, пока миссис Принс пыталась привлечь внимание официанта.

– Мы с твоим отцом познакомились, когда он был еще совсем молод... – начала было она и умолкла.

Я кивнул, больше она об отце не заговаривала.

– Тетушка... – начал я, наконец уверившись, как к ней надлежит обращаться. – А вы знаете про узника?

Оказалось, ей не меньше моего хочется прекратить светскую болтовню, и она вроде как не возражала немного затянуть наше «собеседование».

– Выпей еще чаю, – предложила она, поведя рукой.

Я выпил, хотя чай мне не нравился. Она созналась, что слышала про узника, хотя никто не должен был о нем знать.

– Его очень тщательно охраняют. Ты не волнуйся. На борту даже есть британский военный высокого ранга.

Я стремительно нагнулся вперед.

– Я видел его! – выпалил я. – Он по ночам гуляет. Под охраной.

– Вот как... – протянула она: мой козырь, разыгранный столь стремительно и беспечно, явно произвел на нее впечатление.

– Говорят, он совершил что-то ужасное, – добавил я.

– Да, я слышала, он убил судью.

Вот это козырь так козырь. Я так и остался сидеть с открытым ртом.

– Судью-англичанина. Пожалуй, мне не стоит больше ничего говорить, – добавила она.

Мой дядюшка, мамин брат, опекавший меня в Коломбо, тоже был судьей, правда сиамцем, не англичанином. Судье-англичанину никогда не позволили бы вести на острове ни один процесс, так что убитый, по всей видимости, был просто гостем или, возможно, приехал в качестве консультанта, советника... Кое-что из этого мне рассказала тетушка Флавия, кое-что я сам домыслил с помощью Рамадина, у которого был трезвый, аналитический ум.

Возможно, узник убил судью, чтобы тот не поддержал обвинение. Как мне в тот момент хотелось поговорить со своим дядюшкой из Коломбо! Я распереживался, что жизни его грозит опасность. «Говорят, он убил судью!» Эта фраза все звенела у меня в голове.

Дядюшка был дородным и добродушным. С тех пор как несколько лет назад мама моя уехала в Англию, я жил у них с тетушкой в Боралесгамуве, и хотя между нами не состоялось ни единой долгой – да даже и краткой – беседы по душам, хотя дядюшка был слишком занят работой, он как бы излучал любовь и мне с ним было покойно. Вернувшись домой и налив себе джина, он позволял мне смешать его с тоником. Лишь однажды у нас вышло недоразумение. Он вел сенсационное дело об убийстве, в котором был замешан один крикетист, а я наболтал своим друзьям, что подсудимый ни в чем не виновен, а когда меня спросили, откуда я знаю, ответил, что слышал от дяди. Я, собственно, не лгал сознательно, просто хотел внутренне утвердить свою веру в героя-крикетиста. Когда дядя прослышал об этом, он просто рассмеялся и как бы между прочим попросил меня больше так не поступать.

Через десять минут после возвращения к друзьям на четвертую палубу я уже расписывал Кассию и Рамадину, в чем состоит преступление узника. Я говорил у бассейна, я говорил возле стола для пинг-понга. Вот только ближе к вечеру мисс Ласкети, до которой долетели обрывки моего рассказа, прижала меня в углу и несколько разуверила в достоверности слов тетушки Флавии.

– Может, убил, а может, и нет, – сказала она. – Не верь, это, скорее всего, просто сплетня.

После этого я начал думать, что Флавия Принс специально придумала такую романтическую версию, так сказать подняла планку, – я ведь видел узника своими глазами, вот она и изобрела преступление, которое взяло меня за душу: убийство судьи. Будь мамин брат аптекарем, она выбрала бы аптекаря.

В тот вечер я сделал первую запись в экзаменационной тетрадке. В салоне «Далила» возник некоторый ажиотаж – за партией в карты один из пассажиров набросился на свою жену. Во время игры в черви червь ревности заполз ему в сердце. Имела место попытка удушения, а затем – прокол уха с помощью вилки. Я сумел увязаться за пассажирским помощником, который вел жену по узкому коридору к лазарету, – рана ее была зажата салфеткой. Муж, громко хлопнув дверью, удалился к себе в каюту.

После этого происшествия ввели комендантский час, но нам с Кассием и Рамадином удалось выскользнуть из своих кают, мы спустились по скудно освещенным трапам и дождались появления узника. Дело шло к полуночи, мы все трое курили сучки, отломанные от плетеного кресла: поджигали и втягивали дым. Рамадину с его астмой это занятие было не слишком по душе, однако Кассий задался целью до конца путешествия скурить совместными усилиями все кресло. Примерно через час стало ясно: ночную прогулку узника отменили. Стояла кромешная тьма, но мы уже научились отыскивать в ней дорогу. Тихо сползли в бассейн, заново подожгли свои сучки и легли на спины. Безмолвные, будто трупы, мы смотрели на звезды. Казалось, мы дрейфуем в море, а не в закрытом бассейне посреди океана.

* * *

Стюард сразу предупредил, что у меня будет попутчик, но до сего момента вторая койка в каюте продолжала пустовать. Наконец на четвертый вечер – мы еще пересекали Индийский океан – в каюте вдруг вспыхнул свет и вошел человек по имени мистер Хейсти. Под мышкой он нес складной столик для бриджа. Он растолкал меня и забросил на верхнюю койку.

– Зайдут друзья перекинуться в картишки, – сказал он. – А ты давай спи.

Я дождался узнать, кто именно зайдет. Через полчаса за столом уже сидели четверо и тихо, сосредоточенно играли в бридж. Места едва хватало. Говорили они вполголоса, чтобы не тревожить меня, и я скоро уснул под их шепот, которым делались ставки.

Утром я проснулся в одиночестве. Карточный столик был сложен и прислонен к стене. Спал ли Хейсти? Был ли он полноправным пассажиром или членом команды? Как потом выяснилось, он заведовал на «Оронсее» собачьей гостиницей; работка, судя по всему, была непыльная, большую часть времени он проводил за чтением – если только не прогуливал собак по небольшой выгородке на палубе. В результате к концу дня у него оставалась масса нерастроченной энергии. И вот по ночам, вскоре после двенадцати, к нему приходили друзья. Один из них, мистер Инвернио, помогал ухаживать за собаками. Еще двое были корабельными радистами. Играли каждую ночь с двух до трех, а потом неслышно удалялись.

Я редко оставался с мистером Хейсти наедине. Он объявлялся в полночь и, понимая, что мне нужно поспать, редко заводил разговор – а кроме того, почти сразу же приходили его дружки. Странствуя по Востоку, он обзавелся привычкой носить саронг и, как правило, сидел, обмотав его вокруг пояса, даже в присутствии приятелей. Когда приходили гости, мистер Хейсти доставал четыре рюмки и бутылку арака. Бутылку и рюмки ставили на пол, со стола убирали все, кроме карт. Я свешивался со своего невысокого помоста и заглядывал в талью «болвана». Наблюдал за комбинациями, слушал ставки. Пас... Одна пика... Пас... Двое треф... Пас... Две некозырных... Пас... Трое червей... Пас... Трое пик... Пас... Четверо треф... Пас... Пять треф... Удваиваю... Еще удваиваю... Пас... Пас... Пас... Беседовали они редко. Друг к другу, помню, обращались только по фамилиям: «мистер Толрой», «мистер Инвернио», «мистер Хейсти», «мистер Бэбсток», будто курсанты морской академии в девятнадцатом веке.

Впрочем, позднее, когда нам с друзьями доводилось столкнуться с мистером Хейсти, он вел себя совсем иначе. За пределами нашей каюты он превращался в самоуверенного, неумолчного говоруна. Он повествовал о превратностях своей службы в торговом флоте, о приключениях с бывшей женой, страстной наездницей, о своем пожизненном пристрастии к гончим – их он любил больше всех представителей песьего племени. Но в полночном полумраке нашей каюты мистер Хейсти становился шептуном и после третьего вечера за карточным столом с редкостной заботливостью поменял ярко-желтую лампочку на приглушенно-синюю. И вот я погружался в полусон, а внизу разливали спиртное,

разыгрывали робберы, деньги переходили из рук в руки, и в синеватом свете все это казалось жизнью внутри аквариума. Доиграв, они выходили на палубу покурить, а через полчаса мистер Хейсти неслышно проскальзывал обратно, некоторое время читал, а потом гасил свой ночник.

* * *

Мальчику, которого дожидаются друзья, сон видится темницей. К ночи мы относились с нетерпением и вскакивали еще до того, как рассвет успевал объять судно. Нам хотелось поскорее вернуться к исследованию нашей вселенной. Лежа на койке, я слышал тихий условный стук в дверь – Рамадин. Условность, собственно, была излишней – кто еще мог стучать в такое время? Два удара, долгая пауза, еще один удар. Если я не слезал с койки и не отпирал дверь, до меня доносилось театральное покашливание. А если я и тогда не отзывался, он шептал: «Майна» – такое мне дали прозвище[3 - Не в смысле майна/вира, а майна – говорящий скворец (*Acridotheres*).].

Мы встречались с Кассием у трапа и скоро уже вышагивали босиком по палубе первого класса. В шесть утра эта палуба никем не охранялась, а мы забирались туда еще до того, как первый луч проклюнется на горизонте, даже до того, как ночные фонари замигают и автоматически выключатся при свете зари. Мы снимали рубашки и тремя иголочками ныряли в золоченый бассейн первого класса – без единого всплеска. Храня вынужденное молчание, мы плавали в нарождавшемся полусвете.

Если нам удавалось продержаться незамеченными целый час, можно было проскользнуть на открытую палубу, где уже был подан завтрак-буфет, навалить еды на тарелку и дать деру с серебряной вазочкой сгущенного молока, такого густого, что ложка стояла стоймя посредине. После этого мы забирались в свое укрытие, в одну из подвешенных шлюпок, поглощали несправедливо добытую еду, а потом Кассий доставал сигарету «Голд лиф», которую где-то спроворил, и учил нас курить.

Рамадин вежливо отказывался – у него была бронхиальная астма, что давно уже стало очевидным и нам, и остальным обитателям «кошкиного стола». (Не менее очевидно это было и через несколько лет, когда мы снова увиделись в Лондоне. Тогда нам было по тринадцать-четырнадцать, мы было потеряли друг друга из виду – годы эти ушли на то, чтобы попривыкнуть к новой стране. Наконец я

увидел его снова, с родителями и с сестрой Массумех, – так вот, он и тогда подхватывал все окрестные бронхиты и простуды. В Англии мы возобновили было дружбу, только за протекшее время мы успели перемениться, земные условности перестали быть для нас пустым словом. Как-то вышло, что теперь я больше сблизился с его сестрой – Масси всегда сопровождала нас на прогулки по Южному Лондону, на велотрек Херн-Хилл, в брикстонский «Рокси», а потом на местную барахолку; мы, точно внезапно опьянев, носились между лотками с едой и одеждой. А бывало, мы с Масси сидели на диванчике в доме ее родителей на Милл-Хилл, и ладони наши под прикрытием пледа подползали одна к другой, ложились внахлест – а сами мы делали вид, что смотрим по телевизору бесконечные репортажи о гольфе. Однажды ранним утром она пробралась в комнату наверху, которую делили мы с Рамадином, и села рядом, прижав палец к губам и призывая к молчанию. Рамадин спал в своей кровати. Я попытался было сесть, но она толкнула меня раскрытой ладонью, а потом расстегнула пижамную кофточку и открыла мне недавно сформировавшуюся грудь, расчерченную зеленоватыми тенями росших снаружи деревьев. И вот после этого я услышал покашливание Рамадина, легкий хрип, с которым он во сне прочищал горло, а Масси – полуобнаженная, уstraшенная, бесстрашная, смотрела на меня с теми чувствами, с какими совершаешь такие вот поступки в тринадцать-четырнадцать лет.

Мы бросали тарелки, ножи и ложки, оставшиеся от нашей краденой трапезы, в шлюпку и пробирались обратно на свою палубу. В конце концов, во время учебной тревоги, стюард все-таки обнаружил следы наших многочисленных завтраков – в тот день шлюпки спустили на воду, а капитан потом некоторое время искал на борту безбилетного пассажира.

Когда мы пересекали границу между первым и туристическим классом, на часах еще не было и восьми. Мы делали вид, что покачиваемся в такт качанию судна. Я к тому времени уже полюбил этот медленный валкий вальс. А то, что я здесь один, если не считать Флавии Принс и Эмили – так и те где-то далеко, – само по себе было приключением. Мне не надо было держать ответ перед родными. Я мог пойти куда хочу, делать что хочу. А еще мы втроем уже выработали одно правило. Каждый день полагалось совершить хоть что-нибудь запрещенное. А тут день едва занялся, и на то, чтобы это исполнить, у нас еще было очень много времени.

* * *

Когда родители мои разошлись, произошло это без шума, без выяснения отношений, однако и тайны из этого не делали. Представили это скорее как недоразумение, не как катастрофу. Так что мне трудно сказать, до какой степени проклятие этого развода пало на мою голову. Не припомню, чтобы оно на меня давило. Утром мальчик выходит за порог и проводит весь день в круговерти своего едва нанесенного на карту мира. Да и вообще, юность моя была полна опасностей.

В первые свои годы в пансионе при колледже Святого Фомы в Маунт-Лавинии я очень любил плавать. Мне нравилось все связанное с водой. На школьной территории имелся бетонный желоб, по которому во время муссонов стекала вода. Там возникла игра, в которую играли некоторые пансионеры. Мы прыгали в воду, и нас уносило течение – кружа, переворачивая с боку на бок. В пятидесяти метрах дальше имелась веревка – мы хватались за нее и вылезали на сушу. А еще в двадцати метрах желоб соединялся со сточной трубой, которая уводила под землю, в бездонную тьму. Куда именно, мы так и не узнали.

Нас, наверное, было трое, а то и четверо – мы раз за разом сплавлялись по желобу, по очереди, – головы едва виднеются над водой. Все это требовало мужества – ухватиться за веревку, вылезти, а потом бежать обратно под проливным дождем и повторять все снова. Однажды перед самой веревкой я с головой ушел под воду и не успел ухватиться. Над водой торчала только рука – а меня неуклонно волочило к уходящему вниз водостоку. В тот день в Маунт-Лавинии, в пору апрельских муссонов, меня ждала верная смерть – предсказанная мне астрологом. Было мне девять лет, и передо мной лежало путешествие вслепую в чертог подземной тьмы. Но тут кто-то схватил меня за задранную руку и вытащил из воды. Ученик постарше презрительно обругал нас четверых и исчез в пелене дождя, даже не потрудившись проверить, бросили ли мы свою затею. Кто это был? Мне бы его поблагодарить. Но я лежал, задыхающийся, промокший до нитки, на траве.

Каким я был тогда? Я не помню своего внешнего облика и, соответственно, не помню себя. Если бы мне пришлось изобрести свою детскую фотографию, на ней оказался бы босоногий парнишка, в шортах и хлопковой рубашке, бегущий с парочкой деревенских друзей вдоль влажной стены, которая отделяла наш дом с садом в Боралесгамуве от потока машин на Хай-Левел-роуд. А может, я был бы на ней один – дожидаюсь прихода приятелей, смотрю не в сторону дома, а на пыльную улицу.

Кто знает, нравится ли детям жить в беспризорности? Стоило мне выйти за порог, и я больше не чувствовал родительской руки. Впрочем, мы, видимо, пытались своими силами понять и постичь мир взрослых, гадали, что там происходит и почему. Однако, когда мы поднялись на борт «Оронсея», мы впервые, просто из-за недостатка места, тесно соприкоснулись со взрослыми. Здесь было просто физически невозможно держаться от них на расстоянии, и мы обратились к тем вопросам, которые нас волновали.

Мазаппа

Мистер Мазаппа подкатывается ко мне – я как раз посвящаю дряхлого пассажира в искусство раскладывать шезлонг всего в два движения, – берет под ручку и уводит погулять.

– От Натчеза до Мобила, – предостерегает он, – от Мемфиса до Сент-Джо...[4 - «From Natchez to Mobile, from Memphis to St. Joe» – из песни «Blues in the Night», написанной Гарольдом Арленом и Джонни Мерсером в 1941 г. для одноименного киномюзикла.]

Делает паузу, наслаждается моим замешательством.

Своими неожиданными появлениями он вечно застаёт меня врасплох. Я подплываю к бортику бассейна – он хватает меня за скользкую руку и прижимает к краю, склоняется ко мне с очередными подробностями своей биографии:

– Послушай, мой особенный... женщины станут тебя умасливать и строить тебе глазки... Я хочу предостеречь тебя на своем опыте.

Вот только мне одиннадцать лет, и эти его предостережения звучат скорее как оскорбления, нацеленные в будущее. Когда он обращается к нам троим, все звучит еще мрачнее, даже в апокалипсических тонах:

– Вернулся домой из последнего плавания, вижу – а в моей конюшне чужой мул. Понимаете, к чему я клоню?

Не понимали. Пока он не объяснит. Впрочем, по большей части он беседовал со мной одним, будто я и впрямь был особенным, тем, на кого можно поставить свое клеймо. Возможно, в определенном смысле он был прав.

Макс Мазатта просыпался в полдень, съедал поздний завтрак в баре «Далила».

– Мне парочку одноглазых фараонов и паралитика, – просил он, жуя коктейльные вишни и дожидаясь яичницы.

Потом брал чашку яванского кофе и уносил в танцевальную залу, к пианино, где ставил на верхние клавиши. И вот там, подстрекаемый пианино, он посвящал всех, кого придется, в важные и сложные подробности бытия. Случалось, он поучал нас, в каких случаях надлежит надевать шляпу, случалось, учил орфографии:

– Немыслимый язык – английский! Немыслимый! Египет, например. Поди напиши правильно. Но я вас сейчас научу. Просто повторяйте про себя: «Ее груди изящны, попа ее тяжела».

Мы и впрямь запомнили эту фразу навеки. Вот и сейчас, прежде чем написать, я чуть поколебался и молча составил слово из первых букв.

По большей же части он делился своими познаниями в музыке, разъяснял нам тонкости четверть-тонов или напевал очередную песенку, которую подхватил от певички-сопрано на какой-нибудь закулисной лесенке. Получался такой лихорадочный, археологический экскурс в его биографию. «Я ехал в поезде и думал о тебе», [5 - «I took a trip on a train and I thought about you» – из популярной песни Джимми ван Хойзена и Джонни Мерсера «I Thought about You» (1939).] – бормотал он. Мы вроде как выслушивали исповедь его страдающего, измученного сердца. Теперь-то я понимаю, что Макс Мазатта знал толк в мелодических и композиционных тонкостях. Далек не все его крестные муки были муками любви.

Был он наполовину сицилийцем, наполовину кем-то еще – это он поведал со своим совершенно ни на что не похожим акцентом. Работал по всей Европе, ненадолго смотался в Америку, немного увлекся – когда вынырнул, оказалось, что живет в тропиках над каким-то портовым баром. «Вот вам рассказ о цветном бедолаге, что в старом Гонконге осел», – напевал он, обучая нас припеву из

«Гонконгского блюза».[6 - «Hong Kong Blues» – песня Хоаги Кармайкла, написанная им в 1939 г. и фигурирующая в фильме Говарда Хоукса «Иметь и не иметь» (1944), экранизации одноименного романа Э. Хемингуэя (в главных ролях – Хамфри Богарт, Лорен Бэколл).]

В своих рассказах Мазатта прожил столько жизней, что правда и вымысел слились слишком тесно, нам уже было не отделить одно от другого. Надуть нас троих, в нашей неприкрытой невинности, было совсем нетрудно. А кроме того, в некоторые из песен, которые мистер Мазатта напевал, склонившись над клавиатурой, однажды в полдень, когда свет океанского солнца плескался по полу танцевальной залы, вплетались слова, доселе нам неизвестные.

Чрево. Сука.

Он обращался к мальчишкам, стоявшим на пороге зрелости, и, наверное, понимал, какое впечатление производит. Но, кроме того, он рассказывал своим юным зрителям о музыкальной доблести, и главным его героем был Сидни Беше: однажды, во время выступления в Париже, некто обвинил его в том, что он взял фальшивую ноту. В ответ он вызвал обидчика на дуэль, в воследовавшей потасовке подстрелил случайного прохожего, попал в тюрьму и был депортирован. «Великий Беше... Вам, ребята, еще жить и жить, – говорил Мазатта, – прежде чем встретится другой столь же ярый защитник принципов».

По большей же части нас завораживали или ошеломляли беззаветные любовные драмы, звучавшие в его песнях, его вздохах и его откровениях. Мы полагали, что причиной фатального финала его карьеры стал обман или слишком сильная любовь к женщине.

Каждый месяц при ущербной луне, вновь и вновь,

Да, каждый месяц, да, при ущербной луне, вновь и вновь

Из чрева суки струится кровь.

Было нечто потустороннее и незабываемое в этом куплете, который пропел нам Мазатта в один из тех дней – что бы там ни значили слова. Мы слышали его лишь раз, но он остался внутри некой непререкаемой истиной, отталкивавшей нас своей лапидарностью, как оттолкнула тогда. Куплет (написанный, как я выяснил впоследствии, Джелли Роллом Мортонем) был пуленепробиваемым и

водонепроницаемым. Но мы тогда этого не знали, нас слишком смутила прямота – этот глагол, эта густая летальная рифма, столь экономично следующая за повтором в зачине. Мы отрешились от его присутствия в зале, вдруг осознав, что стюарды, взобравшись на стремянки, украшают стены к вечерним танцам, устанавливают цветные прожекторы, подвешивают к потолку перекрещенные гирлянды папиросной бумаги. Они рывком распахивали огромные белые скатерти и оборачивали ими деревянные подпорки. В центр каждого стола помещали вазу с цветами – голая комната становилась окультуренной и романтической. Мистер Мазаппа не ушел с нами. Он так и сидел за пианино, глядя на клавиши, будто не замечая окрестного преображения. А мы знали: что бы он там ни сыграл нынче вечером с оркестром, это будет совсем не то, что он только что играл для нас.

* * *

У мистера Мазаппы был сценический псевдоним, или «боевая кличка», как он ее называл: Солнечный Луч. Пользоваться им он начал после того, как однажды во Франции в его фамилию на афише вкралась опечатка. Кроме того, возможно, антрепренеров смущало левантийское звучание его имени. На «Оронсее», где уроки музыки рекламировали в ежедневном бюллетене, его тоже именовали «Солнечным Лучом, знаменитым маэстро». Но для нас, за «кошкиным столом», он был просто Мазаппой, поскольку понятия «солнечный» и «луч» никак не вязались с его натурой. Не было в нем ни лучезарности, ни свежести. Тем не менее, его страсть к музыке очень оживляла наш стол. Однажды он на протяжении целого ланча развлекал нас рассказом о дуэли «великого Беше» в Париже, в 1928 году, в рассветные часы, которая вылилась в форменную перестрелку, – Беше выстрелил в Маккендрика, пуля задела шляпу-борсалино клеветника, полетела дальше и попала в ляжку какой-то француженки, шедшей на работу. Мистер Мазаппа в точности воспроизвел траекторию полета пули с помощью солонки, перечницы и куска сыра.

Как-то днем он пригласил меня к себе в каюту послушать пластинки. Беше, рассказал Мазаппа, пользовался кларнетом системы Альберта, отличающимся аккуратностью и богатством тона. «Аккуратность и богатство», – повторял он снова и снова. Он поставил пластинку на семьдесят восемь оборотов и шептал в такт музыке, отмечая немислимые распевы и рулады:

– Слышишь, как он вытрясает звук?

Я ничего не понимал, но был зачарован. Каждый раз, когда Беше вновь воскрешал мелодию – помню, Мазаппа сказал: «точно солнечный свет на лесной поляне», – мой наставник подавал мне знак. Он пошарил в завосковелом чемодане, достал блокнот и зачитал слова, которые Беше якобы сказал своему ученику: «Сегодня я дам тебе ноту, – сказал Беше. – Посмотрим, какой и сколько ты сможешь ее сыграть: прорычи, растопчи, распластай, заточи; делай что хочешь. Это все равно, что говорить».

Еще Мазаппа рассказал мне про пса:

– Он выходил на сцену вместе с Беше и ворчал себе под нос, пока хозяин играл... именно поэтому Беше и ушел от Дюка Эллингтона. Дюк не хотел, чтобы Гула торчал там, в свете ramпы, и затмевал его белый костюм.

Так что именно из-за Гулы Беше ушел из оркестра Эллингтона и открыл «Южное ателье» – магазин по ремонту и чистке одежды, в котором вечно толклись музыканты.

– Именно тогда он записал свои лучшие диски, «Черную палку» и «Милашку». Когда-нибудь ты их еще купишь.

А потом – о делах постельных:

– Беше любил повторяться, часто по несколько раз оказывался с одной и той же женщиной... Женщины разного толка пытались прибрать его к рукам. Но он, как ты понимаешь, с шестнадцати лет был странствующим музыкантом, успел перевидать женщин всех стран и мастей...

Всех стран и мастей! От Натчеза до Мобила...

Я слушал, непонимающе кивал, а мистер Мазаппа притискивал этот пример образа жизни и музыкального мастерства к самому сердцу, точно овальный образок.

Третья палуба

Я сидел на койке, глядя на дверь и на металлическую стену. Середина дня, в каюте жарко. Нужно было вернуться мыслями назад. Вернуться и вспомнить, как удивительно приятны одиночество и любопытство. Потом я ложился навзничь и смотрел на потолок, до которого оставалось меньше полуметра. Страх не было. Хотя я и находился в море. Побывать одному можно было только здесь, только в это время. Почти все дни я проводил с Рамадином и Кассием, иногда еще с Мазаппой и другими соседями по «кошкиному столу». По ночам меня окружало перешептывание моих картежников.

А еще иногда в поздние сумерки я забредал на третью палубу – в это время там никого не было. Я подходил к ограждению – оно было мне как раз по грудь – и смотрел, как мимо судна струится море. Иногда оно вздымалось почти до уровня палубы, словно затем, чтобы унести меня прочь. Я стоял неподвижно, хотя внутри бушевали страх и одиночество. То же чувство я испытал, когда как-то раз потерялся в узких улочках рынка Петта или когда приспособливался к неведомым, негласным правилам новой школы. Пока перед глазами не было океана, не было и страха, но здесь, в полутьме, океан подступал вплотную, окружая судно, вихрясь со всех сторон. Теперь-то я понимаю – с тех самых пор я постоянно пытаюсь изжить этот одинокий страх. И все же, несмотря на испуг, я стоял лицом к лицу с убегающей вспять тьмой, будто наживка, закрепленная между палубой и волнами, раздираемый побуждением сделать шаг назад и острым желанием рвануться тьме навстречу.

Еще на Цейлоне я однажды видел, как в дальней части гавани Коломбо кромсают океанский лайнер. Весь день я смотрел, как синий ацетиленовый луч врезается в его борта. Я понимал, что судно, на котором я сейчас плыву, тоже можно разрезать на куски. Наткнувшись на мистера Невила – он ведь раньше как раз демонтировал старые корабли, – я потянул его за рукав и спросил, не грозит ли нам опасность. Он ответил, что «Оронсей» пребывает в добром здравии и в самом расцвете сил. Мол, во время Второй мировой тот служил военным транспортом; на одной трюмной переборке по сей день красовалась огромная бело-розовая роспись: голые женщины верхом на лафетах и танках – творчество какого-то солдата. Картина никуда не делась, причем оставалась тайной, – офицеры в трюм никогда не спускались.

– Но нам не грозит опасность?

Он усадил меня и на обороте какого-то чертежа, которые всегда таскал с собой, нарисовал греческое боевое судно, трирему[7 - Строго говоря, это уже римское название; у греков такие корабли назывались триерами.].

– Это был величайший из всех морских кораблей. И даже его больше нет. Он сражался с врагами Афин, доставлял туда неведомые плоды и злаки, новые знания, новое зодчество, даже демократию. Без триремы ничего этого не возникло бы. На корабле не было никаких украшений – трирема была прежде всего боевой единицей. Из команды – только гребцы и лучники. И вот ведь от трирем не осталось ни единого фрагмента. Их ищут и по сей день – в отложениях на речных берегах, но пока безуспешно. Триремы строили из бука и крепкого вяза, киль вытесывали из дуба, а обшивку выгибали из свежей сосны и сшивали пеньковыми веревками. Ни крупицы металла. Такой корабль можно было сжечь на берегу, а будучи потоплен, он просто разлагался. Наше судно надежнее.

Не знаю почему, но рассказ мистера Невила о военном корабле древности меня успокоил. Я теперь воображал, что плыву не на расфуфыренном «Оронсее», а на чем-то более надежном, более выносливом. Я был гребцом или лучником на триреме. Мы входили в Аравийское, а потом в Средиземное море, и мистер Невил был нашим капитаном.

В ту ночь я внезапно проснулся с ощущением, что мы проходим мимо островов, что они совсем рядом, во тьме. Изменился плеск воды о борта, появилось эхо, будто волны разбивались о землю. Я включил желтый ночник в изголовье и посмотрел на карту мира, которую срисовал с какой-то книги. Я забыл сделать на карте подписи. Знал лишь одно: из Колумбо мы взяли курс на северо-запад.

Австралийка

В предрассветный час, когда мы вставали и отправлялись бродить по казавшемуся необитаемым судно, из темных бездонных салонов пахло вчерашним табачным дымом; мы с Рамадином и Кассием мгновенно заполняли безмолвную библиотеку грохотом перекатывающихся тележек. Но вот в одно прекрасное утро мы вдруг увидели девчонку на роликах, которая носилась кругами по дощатой верхней палубе. Как выяснилось, она вставала еще раньше,

чем мы. Полностью игнорируя наше присутствие, она разогналась все быстрее, все размашистее перенося вес тела с ноги на ногу. На одном повороте, не рассчитав прыжок через провода, она врезалась в ограждение, поднялась, глянула на мазок крови на колене и помчалась дальше, косясь иногда на наручные часы. Оказалось, она австралийка, и это нас совершенно заворожило. Наши родственницы так себя не вели, и мы вообще никогда не видели такого упорства. Потом мы заметили ее в бассейне – она плыла, стремительно рассекая воду. Мы бы не удивились, если бы она вдруг прыгнула за борт и минут двадцать продержалась вровень с «Оронсеем».

В итоге мы стали вставать еще раньше, чтобы посмотреть, как она делает свои пятьдесят-шестьдесят кругов. Закончив, она снимала ролики и заходила – выдохшаяся, потная, полностью одетая – под палубный душ. Стояла там среди струй и брызг, перекидывая волосы то туда, то сюда, будто какая-то зверюшка в одежде. То была красота совершенно незнакомого толка. Когда австралийка покидала палубу, мы шли за ней по следам, которые высыхали прямо на глазах под нарождающимся солнцем.

Кассий

Это надо же додуматься дать ребенку имя Кассий, говорю я себе теперь. У многих ли родителей хватило бы духу наречь так своего первенца? Впрочем, Шри-Ланка всегда славилась сочетаниями античных имен и сингалезских фамилий – нельзя сказать, что Соломонов и Сенек здесь так уж много, но они попадаются. Нашего семейного педиатра звали Сократ Гуневардена. Римские источники, конечно, подпортили Кассию репутацию[8 - Имеется в виду Гай Кассий Лонгин, составивший с Марком Юнием Брутом заговор против Гая Юлия Цезаря.], и все равно это нежное, пришепетывающее имя, хотя мой тогдашний знакомый, юный Кассий, был скорее иконоборцем. Как и я, он когда-то учился в колледже Святого Фомы. Был меня на год старше, при этом не столько олицетворял собой авторитет, сколько выказывал к таковому полное презрение. Не припомню, чтобы он пытался подмазаться к сильным мира сего. Он и вас втягивал в орбиту своего восприятия, и вы начинали смотреть на пирамиду корабельной власти его глазами. К примеру, ему страшно нравилось быть самым затрапезным пассажиром за «кошкиным столом».

Если Кассий заводил речь о колледже Святого Фомы в Маунт-Лавинии, говорил он с энергией повстанца, вспоминающего годы сопротивления. Он учился на класс старше – соответственно, нас разделяли многие миры, но для школьников помладше он был настоящим кумиром, поскольку его очень редко ловили на месте преступления. А если ловили, по лицу его не пробежало ни тени смущения или стыда. Особо он прославился после того, как на несколько часов запер «бамбукового» Барнабуса, старшего воспитателя пансиона, в туалете для младшеклассников: так он выражал протест против грязных уборных в школе. (Приходилось садиться на корточки над зловонной дырой, а потом мыть руки, поливая себе из ржавой банки из-под фруктового сиропа. Выведенную на ней надпись: «Из сильного вышло сладкое»[9 - Ветхий Завет. Книга Судей Израилевых, 14:14.] – я запомнил навсегда.) Кассий дождался, когда в шесть утра Барнабус вошел в ученический туалет на первом этаже, где имел привычку засиживаться надолго, прижал дверь металлическим прутом, а потом залепил засов быстросохнущим цементом. Мы слышали, как наш воспитатель всем телом налегает на дверь. Потом он начал выкликать имена – начав с учеников, к которым имел доверие; мы один за другим вызывались помочь, после чего убегали на школьную площадку, где прежде всего орошали траву за кустами, а потом шли поплавать или прилежно отправлялись на самоподготовку, начинавшуюся в семь утра, – собственно, отец Барнабус сам учредил ее в начале полугодия. Цемент одному из рабочих пришлось сбивать крикетной битой, но это произошло уже во второй половине дня. Мы-то надеялись, что к этому времени наш воспитатель сгорит синим пламенем или лишится рассудка, а с ним и дара речи. Увы, месть не заставила себя долго ждать. Кассия высекли и исключили на неделю – после чего он стал уж совершеннейшим героем всех младшеклассников, в особенности после пламенной речи директора, который две минуты кряду клял его на утренней службе, будто Кассий был одним из падших ангелов. Разумеется, ничему этот эпизод не научил – никого. Много лет спустя, когда один из выпускников пожертвовал школе денег на строительство нового крикетного павильона, мой друг Сенека заметил: «Лучше бы соорудили тут пристойные сортиры».

Как и мне, Кассию для зачисления в английскую школу пришлось сдать в Святом Фоме какой-то сюрреалистический экзамен, который принимал сам директор. Нужно было ответить на несколько арифметических вопросов, причем во всех фигурировали фунты и шиллинги, притом что мы были знакомы только с рупиями и центами. Были также вопросы на общую эрудицию: сколько человек входит в состав оксфордской гребной команды и кто живет в доме под названием «Дав-Коттедж». Помимо прочего, нас попросили назвать имена трех членов палаты лордов. Кроме нас с Кассием, в гостиной у директора в тот

субботный день никого не было, и Кассий подсказал мне неверный ответ на вопрос: «Как называется собака женского пола?» Он шепнул: «Кошка», я так и написал. Собственно, тогда он впервые в жизни со мной заговорил, да и то сказал неправду. До того я знал только о его подвигах. Все мы, младшеклассники, знали, что в колледже Святого Фомы он признан «неисправимым». Представляю, как кривились учителя, узнав, что он будет представлять их школу за границей.

В Кассие постоянно проявлялась смесь упрямства и доброты. О родителях своих он никогда не упоминал, а если уж приходилось – обязательно подчеркивал, что он не такой, как они. Собственно, во время путешествия мы мало интересовались прошлым друг друга. Рамадин время от времени упоминал разные советы, которые родители давали ему относительно здоровья. Что касается меня, друзья знали лишь, что в первом классе едет моя «тетушка». Предложение молчать о семейных делах исходило от Кассия. Ему, похоже, нравилось изображать самостоятельность. В таком свете он и видел жизнь нашей компании на борту. Рассказы Рамадина о доме он терпел только потому, что знал о физической слабости друга. Кассий был мягко демократичен. В принципе, он был только против власти Цезаря.

Как мне кажется, благодаря ему я сильно переменился за эти три недели – он заставлял видеть все, что происходило вокруг, в искривленной или перевернутой перспективе. Три недели – очень короткий срок, но шепот Кассия так и не стих в моей памяти. Шли годы, я слышал о нем, о его карьере, но лично мы больше не встречались. А вот с Рамадином виделись часто – я бывал на Милл-Хилл, где жили его родные, ходил с ним и с его сестрой на утренние сеансы в кино, на гребные гонки в Эрлз-Корте, – и там мы часто воображали, чего бы натворил Кассий, окажись он с нами.

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ТЕТРАДЬ

ПОДСЛУШАННЫЕ РАЗГОВОРЫ

Дни с 1-го по 11-й

– Не смотри на него, слышишь, Селия? Не вздумай больше смотреть на эту свинью!

– У сестры моей странное имя. Массумех. Это значит «безупречная», «огражденная от грехов». А по-персидски – «одаренная» или «искренняя». Есть еще значение «беззащитная».

– Я, вот ведь незадача, просто терпеть не могу этого силихэмского терьера.

– А я ее поначалу принял за синий чулок.

– Мы иногда фруктами травим рыбу.

– В шторм всегда появляются карманники...

– Я вот слышала, что можно перейти пустыню, съедая в день лишь по финику и луковице.

– С языками-то она в ладу, вот ее и припахали на Уайтхолле.

– Этот одинец меня угробит!

– Твой муж тут предложил мне лежалую устрицу, а я ему и говорю: да это будет поопаснее, чем вступить в половую связь в семнадцать лет!

Трюм

Одним из наших соседей по «кошкиному столу» был Ларри Дэниелс. Плотно сбитый, мускулистый мужчина. Он всегда был при галстукке, всегда закатывал рукава рубашки. Поначалу мы знали о нем лишь одно: он по уши втрескался в мою семнадцатилетнюю кузину, которая даже не удосуживалась ответить ему, который час. По причине ее пренебрежения он лез из кожи вон, чтобы подружиться со мной. Наверное, как-то заметил, как я хохочу над чем-то с ней и с ее друзьями у бассейна, – Эмили почти все время проводила там. Мистер

Дэниелс осведомился, не желаю ли я осмотреть его «сад» на борту. Я осведомился, нельзя ли привести двоих спутников, мистер Дэниелс согласился, хотя было ясно: ему бы хотелось заполучить меня безраздельно, чтобы расспросить о пристрастиях и привычках Эмили.

Так уж сложилось, что когда мы с Кассием и Рамадином оказывались в обществе мистера Дэниелса, то постоянно выпрашивали у него экзотические напитки, которые продавали в баре у бассейна. Или уговаривали сыграть с нами в какую-нибудь игру. Мистер Дэниелс был человеком интеллигентным, любознательным, но нам интереснее было помериться с ним силой – мы нападали на него втроем, и в конце концов он, отдуваясь, валился на мат, а мы, основательно вспотев, удирали и прыгали в бассейн.

Только за ужином некому было защитить меня от расспросов мистера Дэниелса касательно моей кузины – как на беду, мы с ним сидели рядом, – так что приходилось говорить об Эмили, и ни о чем другом. Единственное достоверное сведение, которое я сообщил ему со всей искренностью, заключалось в том, что она любит ароматизированные сигареты «Плеерс». Именно их, и только их она курила уже года четыре. Остальные ее пристрастия и привычки я выдумал.

– Ей нравится мороженое из «Слоновника», – говорил я. – Она собирается на сцену. Хочет стать актрисой.

Дэниелс уцепился за фальшивую соломинку:

– На борту есть театральная труппа. Я мог бы ее познакомить...

Я кивнул, будто бы в одобрение этого плана, – и на следующее утро застал Дэниелса за беседой с троими из труппы «Джанкла». Они плыли в Европу разыгрывать там свои улично-акробатические сценки, а по пути время от времени давали спектакли для пассажиров. Порой жонглировали – случалось, под руку им после вечернего чая подворачивались чашки и блюдца, – однако по большей части они выступали официально, в костюмах и многослойном гриме. А лучший их трюк заключался в том, что они вызывали пассажиров на импровизированную сцену и раскрывали личные тайны каждого, доводя до крайнего смущения. В основном речь шла о местонахождении потерянного бумажника или перстня или, например, о том, что пассажир едет в Европу навестить больную сестру. Чудеса эти творил под конец представления

«Хайдерабадский мудрец», лицо которого было изрисовано красными полосами, а глаза обведены белилами – от этого они казались глазами великана. Он, собственно, нагонял на нас жуткий страх, потому что иногда входил в гущу толпы и сообщал, сколько детей у того или иного пассажира или откуда родом его жена.

Однажды ближе к вечеру, бродя по третьей палубе, я заметил «Хайдерабадского мудреца» – скрючившись под шляпкой, он гримировался к представлению. В одной руке он держал перед лицом зеркало, а другой быстро наносил слой за слоем розовую краску. Оказалось, что «Хайдерабадский мудрец» молод, худощав – полупокрашенная голова казалась великоватой для щуплого туловища. Он тарачился в зеркало, подправляя грим, и не замечал, что я стою рядом и смотрю, как он трудится в полутьме под свисавшей с талей шляпкой. Потом он поднялся, шагнул на солнечный свет, краски вспыхнули, глаза заискрились демонической пронизательностью – он бросил на меня мимолетный взгляд и прошествовал мимо, будто я был пустым местом. Именно в тот миг я впервые заглянул за тонкий занавес искусства и, когда в следующий раз увидел «мудреца» на сцене, в полном облачении, уже чувствовал себя гораздо увереннее. Мне казалось, я почти различаю внутри скелет – и уж всяко знаю о его существовании.

Кассий любил труппу «Джанкла» сильнее всех нас. Ему страшно хотелось выступить с ними, особенно после того, как однажды к нам прибежал взволнованный Рамадин и поведал, что своими глазами видел, как один из актеров, показывая пассажиру дорогу, снял с него часы. Сделано это было так ловко, что пассажир ничего не почувствовал. Два дня спустя «Хайдерабадский мудрец» шагнул в толпу зрителей и сообщил пострадавшему, что если у него «вдруг» пропали часы, находятся они там-то. Это было просто великолепно. Мы влюбились в актеров пуще прежнего. Таким же образом были похищены сережка, чемодан, пишущая машинка из каюты люкс – все они попали к «Хайдерабадскому мудрецу», а он в должный срок сообщил об их местонахождении владельцу. Когда мы рассказали о своем открытии мистеру Дэниелсу, он посмеялся и сказал, что это очень напоминает ловлю на живца.

Но поначалу мистер Дэниелс понятия не имел об этой стороне жизни труппы «Джанкла», поэтому просто представился им и сообщил, что на борту находится его приятельница, мисс Эмили де Сарам, чрезвычайно одаренная юная дама, которая обожает театр, – так вот, не позволят ли они привести ее на репетицию? Насколько я понимаю, через пару дней он ее действительно привел, вот чего я

не знаю – это питала ли Эмили хоть какой-то интерес к театру. В любом случае именно таким образом она и познакомилась с «Хайдерабадским мудрецом», именно с этого и началась у нее совсем не та жизнь, какую ей прочили.

Если не считать его «слабости» к Эмили, мистер Дэниелс не вызывал у нас особого интереса. Может, в нем и было что-то любопытное, но мы были сосредоточены на более мелких вещах – если вообще на чем-то сосредотачивались, потому что нас что ни час отвлекали новые события и открытия, которые будоражили и смущали, вызывая недолговечные вспышки возбуждения. Мистер Дэниелс был слишком невнятен, чтобы пробудить в нас долгосрочное любопытство, хотя вот сейчас, пожалуй, я сумел бы оценить его общество, с удовольствием погулял бы с ним по его ботаническому саду, послушал бы его рассуждения о необычайных свойствах вот этого вот растения, мимо которого мы как раз проходим, о пальмах, папоротниках и кустарниках, задевавших наши предплечья.

И вот в один прекрасный день он собрал нас всех троих и отвел, как и обещал, в чрево судна. Мы вошли в носовой отсек, где нас встретил поток воздуха от двух турбовентиляторов, соединенных с генераторной. У мистера Дэниелса был свой ключ, с его помощью мы попали в трюм, в темный провал, простиравшийся вниз на несколько этажей. Далеко под нами слабо мерцали несколько фонарей. Мы спустились по железной лестнице, прикрепленной к стене, миновали вереницу трюмов, набитых ящиками, мешками и огромными, одуряюще пахнущими листьями каучука. Из загона для кур раздавалось громкое кудахтанье – мы рассмеялись, когда при нашем приближении шум внезапно стих. Внутри переборок шумела вода – мистер Дэниелс объяснил, что там работают водозаборники опреснителей.

Когда мы достигли дна трюма, мистер Дэниелс уверенно шагнул в темноту. Мы последовали за ним в слабом свете фонарей, висевших у нас над головами. Отшагав метров пятьдесят, он свернул направо, тут нам и предстала роспись, о которой уже упоминал мистер Невил: дамы верхом на пушечных лафетах. Дамы были крупнее нас раза в два, они улыбались и махали руками, при этом одежды на них не было никакой, а фоном служила пустыня.

– Дядя, а это что? – то и дело вопрошал Кассий.

Но мистер Дэниелс не позволял останавливаться и все гнал нас вперед.

И вот впереди забрезжил какой-то золотистый свет. Более того, вблизи стало ясно – перед нами море цвета. Это и был «сад», который мистер Дэниелс вез в Европу. Мы немного постояли на входе, а потом мы с Кассием и даже Рамадин принялись носиться по узким дорожкам, оставив мистера Дэниелса рассматривать какой-то цветок. Велик ли был сад? Этого мы так и не выяснили, потому что ни разу не видели его полностью освещенным, прожекторы, представлявшие собой искусственное солнце, включались и выключались по очереди. В какие-то части сада мы так и не попали на протяжении всего плавания. Я даже не припомню, какой он был формы. Теперь-то кажется, что он явился нам во сне, что не могла десятиминутная прогулка по темному трюму привести в такое место. В воздухе то и дело возникал туман, и мы поднимали головы навстречу водной пыли. Некоторые растения были выше нашего роста. Попадались и маломерки, всего-то нам до лодыжек. Мы вытягивали руки на ходу, гладили и ласкали папоротники.

– Не трогать! – приказал мистер Дэниелс, ловя мою протянутую руку. – Это *Strychnos nux vomica*. Поосторожнее с ним – пахнет он приятно, особенно по ночам. Так и хочется расколоть эту зеленую скорлупу, да? Похож на фрукт баиль, растущий у вас в Коломбо, но только с виду. На деле это стрихнин. Вот это, цветками вверх, – это бругмансия, или ангельская труба. Вон то, цветками вниз, – датура, она же труба дьявола. А вот этот цветок – из семейства *Scrophulariaceae*, норичниковых, тоже обманчив в своей красоте. Понюхаете – и голова кругом.

Кассий нарочито потянул носом, театрально качнулся и «вырубился», придавив локтем несколько хрупких стебельков. Мистер Дэниелс подскочил и отвел его руку от безобидного на вид папоротника.

– Многим растениям дана удивительная сила, Кассий. Сок вот этого придает волосам черный цвет и заставляет ногти расти здоровыми и крепкими. Вон те синенькие...

– Сад на корабле! – Тайна мистера Дэниелса явно впечатлила Кассия.

– Ной... – тихо произнес Рамадин.

– Да. И вспомните-ка, как сказал поэт, океан – это тоже сад. Вот, подойдите сюда. Я тут на днях видел, как вы курите стебельки от плетеного кресла... вот

это куда лучше.

Он согнулся, мы присели рядом, он сорвал несколько листьев в форме сердца.

- Это листья бетеля, - пояснил он, опуская их на мою раскрытую ладонь.

Потом шагнул дальше, достал из какого-то тайника щепотку гашеной извести, смешал с мелко наструганными плодами ареки, которые держал в джутовом мешочке, и передал Кассию. Через несколько минут мы снова шагали по скудно освещенному проходу, жуя бетель. Этот мягкий уличный наркотик был нам знаком. Мистер Дэниелс был прав - уж для Рамадина-то он был всяко безопаснее, чем плетеное кресло.

- На свадьбах к кардамону и известковому тесту иногда добавляют золотую стружку.

Мистер Дэниелс выдал нам небольшой запас этих ингредиентов, а к ним - немного сушеных табачных листьев: их мы решили сберечь для своих предрассветных прогулок, когда можно будет сплевывать красную жидкость через перила в журчащую воду или в темное жерло корабельной сирены. Мистер Дэниелс провел нас по нескольким садовым дорожкам. Мы уже много дней находились в море, где цветовая гамма ограничивалась бело-серо-голубым, плюс несколько закатов. А в этом саду растения так и выпячивали зелень, синеву, желтизну - и краски нас ослепили. Кассий попросил мистера Дэниелса подробнее рассказать про яды. Мы втайне рассчитывали, что он укажет нам некое растение или злак, с помощью которого можно избавиться от того или иного неприятного взрослого, но мистер Дэниелс отказался рассуждать на эти темы.

Мы вышли из сада и вновь шагнули в темноту. Проходя мимо расписанной стены, Кассий снова задал вопрос:

- А это что, дядя?

Потом мы вскарабкались по железной лестнице обратно на палубу. Лезть вверх оказалось тяжелее, чем вниз. Мистер Дэниелс опередил нас на целый пролет, и, когда мы выбрались на поверхность, он уже курил сигарету биди, завернутую в белую, а не в привычную коричневую бумагу. Он стоял, прикрывая сигарету

левой ладонью, и ему вдруг пришло в голову прочитать нам длинную лекцию про пальмы мира, изображая по ходу, как они растут, как качаются – каждый вид и тип по-своему – и даже как они покорно клонятся на ветру. Он изображал пальмы в различных позах, пока все мы не расхохотались. Потом предложил нам сигарету, показал особый способ затяжки. Кассий жадно следил за ним, но мистер Дэниелс первому протянул сигарету мне, а уже потом она пошла по рукам.

– Необычная биди, – медленно проговорил Кассий.

Рамадин затянулся второй раз и попросил:

– Изобразите еще раз пальму, дядя!

Мистер Дэниелс удовлетворил нас еще несколькими характерными позами.

– Это, понятное дело, корифа зонтоносная, или таллипотовая пальма, – пояснил он. – Именно она дает пальмовый сахар и пальмовый сок.

Потом он изобразил камерунскую королевскую пальму, которая растет в пресноводных болотах. Потом еще одну, с Азорских островов, за ней – нечто очень нежное из Новой Гвинеи, – руки его превратились в удлиненные листья. И еще он не забывал показывать, как каждая из пальм качается на ветру: какие суетливо, какие лишь слегка помавая стволом, чтобы подставить порыву самый узкий край листа.

– Аэродинамика – очень важная вещь. Деревья куда мудрее людей. Даже лилия лучше человека. Деревья – как дивные девы...

Мы до упаду хохотали над его лицедейством. А потом вдруг все разом бросились бежать. С воплями промчались сквозь полуфинал женского турнира по бадминтону и жажнули, как три пушечных ядра, во всей одежде в бассейн. Даже утянули за собой несколько складных стульев. Время в бассейне было оживленное, вокруг плескались девицы и младенцы. Мы выпустили из легких весь воздух, ушли на дно и стояли там, плавно помавая руками, словно пальмы мистера Дэниелса, – жаль только, что он нас не видел.

Генераторная

Нам бы не ложиться допоздна, чтобы узнать, как живет судно по ночам, но мы ведь вставали до зари и к вечеру выдыхались. Рамадин предложил дневной сон – как когда мы были маленькими. В школе мы терпеть не могли этот дневной отдых, а теперь решили, что это дело весьма полезное. Правда, возникли определенные проблемы. Рамадин обитал по соседству с каютой, где какая-то парочка «хихикала», «стонала» и «скрипела» в середине дня, а в соседней со мной каюте некая дама играла на скрипке, и звук проникал ко мне сквозь железную переборку. Один скрип без всякого хихиканья, заметил я. Было даже слышно, как она чертыхается в промежутках между невыносимыми взвизгами и писками. Кроме того, жара в нижних каютах, где не было иллюминаторов, стояла страшная. Я не мог всерьез злиться на скрипачку, потому что понимал: она тоже обливается потом под тем минимумом одежды, который необходим для сохранения собственного достоинства. Я ни разу ее не видел, понятия не имел, как она выглядит и чего пытается достичь в борьбе с инструментом. «Аккуратностью и богатством тона», свойственными мистеру Сидни Беше, у нее и не пахло. Она просто без конца повторяла отдельные ноты и гаммы, сбивалась и начинала все заново – воображаемая пленка пота на плечах и предплечьях, одинокие, занятые дневные часы в каюте, соседней с моей.

А еще нам не хватало общества друг друга. Словом, Кассий решил, что нам необходима постоянная «штаб-квартира», и мы выбрали под нее небольшую генераторную, через которую проходили, спускаясь в трюм. Здесь и в середине дня царили прохлада и полутьма, и здесь из одеял и позаимствованных ради такого дела спасательных жилетов мы устроили себе лежбище. Немного поболтав, мы крепко засыпали под громкий гул турбинных лопаток – приготавливаясь к долгому вечеру.

Впрочем, наши ночные похождения были не слишком удачными. Мы никогда не могли разобрать, что именно видели, и когда ложились спать, мозги наши продолжали цепляться за леера взрослой жизни. В первую нашу «ночную стражу» мы укрылись в тени на прогулочной палубе, выбрали наугад одного пассажира и принялись следить за ним – просто чтобы понять, куда он направляется. Оказалось, это тот самый актер из труппы, который наряжается «Хайдерабадским мудрецом», – мы уже выяснили, что имя его Сунил. Как ни удивительно, он привел нас к Эмили. Она стояла во тьме, облокотившись на перила, – на ней было белое платье, которое будто бы засияло, когда мы

подошли ближе. Мужчина наполовину скрыл ее своим телом, а Эмили спрятала в ладони его пальцы. Было не разобрать, разговаривают они или нет. Мы все трое примолкли. Молчали и после, отказываясь обсуждать увиденное. Но я заметил, как Сунил сдвинул ляжку на ее плече и прижался лицом к обнаженной коже. А Эмили запрокинула голову, будто глядя на звезды, только никаких звезд там не было.

* * *

В ранних моих воспоминаниях эти три недели в море выглядели бессобытийными. Только теперь, много лет спустя, когда мои собственные дети попросили рассказать об этом путешествии, я увидел его их глазами, и оно предстало приключением, более того – важной жизненной вехой. Ритуалом инициации. А на деле плавание не добавило моей жизни величия, скорее отобрало его. Приближалась ночь – и я начинал тосковать по хору насекомых, крикам садовых птиц, болтовне gekkonov. На рассвете мне не хватало шороха дождя в кронах деревьев, мокрого асфальта на Буллер-роуд, вони горячей пеньки на улицах – с этого осязаемого запаха всегда начинался день.

В Боралесгамуве я зачастую просыпался рано и пробирался по темному просторному бунгалу к дверям Нараяна. Обычно еще и шести утра не было. Я ждал, пока он выйдет, поплотнее затягивая саронг. Он кивал мне, и через пару минут мы уже шагали, стремительно и молча, по мокрой траве. Он был рослым мужчиной, а я – мальчишкой восьми-девяти лет. Шли мы босиком. Доходили до деревянного сарая в конца сада. Забирались внутрь, Нараян зажигал свечной огарок, сгибался, держа в руке желтый огонек, и тянул за веревку, которая оживляла генератор.

Итак, каждый мой день начинался с глухого подрагивания и постукивания этого существа, от которого шел восхитительный запах дыма и бензина. Одному лишь Нараяну были известны привычки и слабости генератора, выпущенного году этак в сорок четвертом. Постепенно генератор успокаивался, мы выходили на улицу – в последней предрассветной тьме я видел, как в дядином доме несмело зажигаются огни.

Потом мы оба попадали через калитку на Хай-Левел-роуд. Немногие открытые лавки освещались одинокими лампочками. Мы покупали у Джинадасы яичницу на хлебе и съедали прямо посреди улицы, поставив возле ног чашки с чаем.

Мимо катились, скрипя, запряженные буйволами тележки – возницы, да и сами буйволы, дремали. Я неизменно разделял с Нараяном завтрак после того, как он пробуждал генератор. Никак нельзя было пропустить эту общую трапезу на Хай-Левел-роуд, хотя через час-другой мне приходилось съесть еще один, более официальный завтрак вместе со всем семейством. Но было некое геройство в том, чтобы шагать с Нараяном по предрассветным сумеркам, здороваться с пробуждающимися лавочниками, смотреть, как он наклоняется над горячей пеньковой веревкой на табачном лотке и прикуривает свою биди.

В детские годы Нараян и повар Гунепала были моими постоянными спутниками, я проводил с ними больше времени, чем с родней, и, пожалуй, большему от них научился. Я смотрел, как Нараян откручивает лезвия газонокосилки, чтобы подточить, как нежно, раскрытой ладонью, смазывает велосипедную цепь. Во время поездок в Галле мы с Нараяном и Гунепалой спускались по крепостным укреплениям к морю и уплывали подальше, чтобы они могли наловить на рифах рыбы к ужину. По вечерам меня, спящего, отыскивали в изножье кровати моей няньки Розалин, и дяде приходилось на руках нести меня в спальню. Гунепала, наш повар, – иногда сварливый и раздражительный – был перфекционистом. Помню, если что-то в стряпне вызывало у него претензии, он извлекал это заскорузлыми пальцами из кастрюли и отбрасывал метра на три, на цветочные клумбы: на куриную косточку или перестоявший тхакали тут же набрасывались дворняги, которые знали эту его привычку и всегда ошивались поблизости. Гунепала бранился со всеми – с лавочниками, с продавцом лотерейных билетов, с настырным полицейским, – но при этом вроде как прозревал некую вселенную, которой остальные не видели. За готовкой он воспроизводил всевозможные птичьи трели, каких в городе не услышишь, – явно запомнил с детства. Никто другой не относился столь трепетно к окружающим звукам. Помню, однажды он растолкал меня среди дня, взял за руку и заставил лечь на землю рядом с лепешкой буйволиного навоза, провалявшейся там большую часть дня. Он подтащил меня к самой лепешке и велел вслушаться в гомон насекомых, которые пиروвали внутри, прокладывая туннели с одного фекального полюса на другой. В свободное время он обучал меня альтернативным, сугубо неприличным текстам на мотив популярных байл и заставлял клясться, что я никому их не стану петь, поскольку речь в них идет об известных и почитаемых лицах.

Нараян и Гунепала были незаменимыми и ласковыми моими наставниками в те ранние годы – думаю, именно благодаря им я так до конца и не уверовал в мир, к которому принадлежал. Они открыли передо мной три двери в иной мир. Покинув в одиннадцать лет родину, сильнее всего я тосковал именно по ним.

Тысячу лет спустя я наткнулся в лондонском книжном магазине на книги индийского писателя Р. К. Нараяна. Я купил их все до единой и долго убеждал себя, что их автор – мой незабвенный друг Нараян. Сквозь фразы мне мерещилось его лицо, его долговязая фигура, склоненная над скромным столиком возле узкого окна его спальни, – он кропает главу про Мальгуди, пока тетушкин голос не призовет его по какому-нибудь делу. «Когда я отправлялся к реке совершать омовение, улицы были темны, лишь городские фонари перемигивались (если в них не кончилось масло) на нашей улице... На пути ждали меня привычные встречи. Молочник, как раз начинавший свой обход, гнал перед собой белоснежную корову – завидев меня, он почтительно спрашивал: „Который час, господин?“ Вопрос угасал без ответа, так как часов я не носил. Часовщик, сидевший в городской управе, взывал из-под своего полога: „Это вы?“ – то был единственный вопрос, заслуживавший ответа. „Да, я“, – произносил я неизменно и шел дальше».

Я знал, что именно такие детали и примечает мой приятель во время утренних прогулок по Хай-Левел-роуд. Я знал возницу с буйволовоу упряжки, знал астматика – владельца табачного лотка.

* * *

А потом в один прекрасный день я учуял и на судне запах горящей пеньки. Постоял немного, потом пошел к трапу, где запах был сильнее, поколебался, куда дальше – вниз или вверх, – и стал подниматься. Запах шел из коридора на четвертой палубе. Я остановился там, где он был всего сильнее, опустил на колени и потянул носом у щели под металлической дверью. Тихонько постучал.

– Да?

Я вошел.

За письменным столом сидел добродушный на вид человек. В каюте имелся иллюминатор. Он был открыт, дым от веревки с подожженным концом тянулся как по струночке над плечами незнакомца и уходил наружу.

– Да? – спросил он еще раз.

- Мне запах нравится. Вспоминается дом.

Он улыбнулся и указал на койку, куда можно было присесть. Открыл ящик стола, вытащил метровый примерно кусок веревки. Это была та же самая пеньковая веревка, которая тлела над табачными лотками на рынках Бамбалапития и Петта - да, собственно, и по всему городу, та самая, от которой поджигали купленные россыпью сигареты, а если вы просто пробегали мимо и хотели похулиганить, можно было от нее же подпалить фитиль петарды.

- Я тоже буду его вспоминать, - сказал незнакомец. - И другие вещи. Котемали. Бальзам. У меня они все в чемодане. Я ведь уехал навсегда.

Он ненадолго отвернулся. Будто бы впервые сказал самому себе это вслух.

- Как тебя зовут?

- Майкл, - ответил я.

- Станет одиноко, Майкл, заглядывай сюда.

Я кивнул, выскользнул за дверь и притворил ее.

Звали его мистер Фонсека, он ехал в Англию учительствовать. После я навещал его каждые несколько дней. Он знал наизусть целые пассажи из разных книг и вот сидел целыми днями за столом, раздумывая над ними, прикидывая, что может о них сказать. Я почти не был знаком с миром литературы, он же заманивал меня туда странными, но занимательными историями, каждый раз прерываясь примерно на трети рассказа и добавляя, что когда-нибудь я обязательно узнаю, что там дальше.

- Я думаю, тебе понравится. Может, он еще отыщет этого орла.

Или:

- Они выберутся из лабиринта с помощью одного человека, которого вот-вот повстречают...

Иногда по ночам, выслеживая с Рамадином и Кассием взрослых, я пытался нарастить мясо на костях истории, которую он так и оставил незаконченной.

Был он учтив, а также тих чрезвычайно. Говорил с растяжкой и с запинкой. Даже тогда я видел по неспешным жестам, что он человек редкостный. Вставал он лишь по крайней необходимости, точно больной кот. Он не привык показываться на публике, хотя именно на публике ему и предстояло жить, когда он станет преподавать литературу и историю в Англии.

Я несколько раз пытался выманить его на палубу, но ему хватало впечатлений от иллюминатора и того, что в него видно. У него были книги, горящая веревка, бутылки с водой из реки Келани, несколько семейных фотографий – и он не видел причин выбираться из этой капсулы времени. Так что, если выпадал мне скучный день, я забирался в его задымленное гнездо, и рано или поздно он принимался читать мне вслух. Рассказы и стихи оставались анонимными – и тем глубже врезались в память. Кроме того, была новизна в изгибах рифм. Мне было невдомек, что он цитирует строки, написанные с большим тщанием в некой далекой стране много веков назад. Он всю жизнь прожил в Коломбо, манеры и произношение у него были типично шри-ланкийские, но к этому добавлялись обширнейшие книжные познания. Случалось, он пел мне песню с Азорских островов или читал отрывок из ирландской пьесы.

Я зазвал к нему Кассия и Рамадина. Мистер Фонсека заинтересовался ими и потребовал, чтобы я поведал о наших приключениях на борту. Друзьям моим он тоже пришелся по душе, особенно Рамадину. Мистер Фонсека будто бы источал уверенность и спокойствие, почерпнутые из книг. Он устремлял взгляд в непредставимую даль (легко было вообразить, как осыпаются листки с календаря) и повторял строки, начертанные на камне или на папирусе. Полагаю, запоминал он все это для того, чтобы прояснить свои собственные взгляды – как вот застегиваешь куртку, чтобы сохранить собственное тепло. Вряд ли мистеру Фонсеке грозило разбогатеть. Ему предстояла скудная жизнь учителя в какой-нибудь городской школе. Однако была в нем умиротворенность человека, осознанно избравшего свой образ жизни. Такую умиротворенность и уверенность я видел только у тех, у кого под рукой надежные латы книг.

Понимаю, что портрет получается жалкий и достойный насмешек. Все эти потрепанные «пингвиновские» томики Оруэлла и Гиссинга, [10 - Джорж Гиссинг (1857–1903) – английский писатель натуралистического направления.] переводы

Лукреция с розовым обрезом, которые он вез с собой... Он, видимо, полагал, что в Англии, где его латинская грамматика вполне может сойти за знак отличия, его, азиата, ждет скромная, но хорошая жизнь.

Все гадаю, что с ним случилось дальше? Раз в несколько лет, как вспомню, иду и ищу в библиотечной картотеке имя «Фонсека». В первые годы жизни в Англии Рамадин поддерживал с ним связь. А я – нет. Да, я прекрасно понимал, что такие, как мистер Фонсека, точно рыцари-девственники из более опасных времен, прошли этим путем раньше нас, прошли той же дорогой, по которой теперь шагать и нам, где на каждом шагу – в этом нет сомнения – ждут отнюдь не стихи, а те же уроки, которые придется со всей жестокостью учить наизусть; так же отыскивать хороший и недорогой индийский ресторанчик в Люишеме, так же вскрывать и запечатывать голубые аэрограммы домой на Цейлон, а потом на Шри-Ланку, так же выслушивать насмешки и оскорбления, испытывать стыд из-за нашей манеры произносить букву «В», из-за нашей стремительной речи, а главное – из-за трудностей взаимной притирки; а в конце, возможно, тихое приятие и славная жизнь в какой-нибудь похожей на эту каюту квартирке.

Мистер Фонсека видится мне в некой английской школе – на нем глухо застегнутый блейзер, защита от английской стужи, – и я гадаю, долго ли он там прожил и остался ли там «навсегда». Или все-таки под конец ему сделалось невмоготу, хотя для него Англия и была «центром культуры»? И тогда он возвратился домой дешевым рейсом «Эйр Ланка», на что ушло всего лишь две трети суток, чтобы начать все заново, сделаться учителем в какой-нибудь Нугегеде. «Лондон возвращенный». Стали ли эти выученные наизусть абзацы и строфы европейского канона, которые он привез с собой на родину, эквивалентом мотка веревки или бутылки с речной водой? Адаптировал ли он их, перевел ли, ввел ли в программу сельской школы, где доска стоит прямо под солнцем, а рядом пронзительно кричат лесные птицы? В Нугегеде, при всякой погоде?..

* * *

К этому времени мы уже обследовали почти все судно, мы знали, где проложены воздуховоды от турбин и как проникнуть в рыбный цех, – туда можно было проползти по шахте, через которую выкатывали тележки, – потому что мне нравилось наблюдать за работой рыбаков. Однажды мы с Кассием примостились на узких балках над навесным потолком бальной залы, чтобы

понаблюдать за танцующими. Была полночь. Через шесть часов, согласно составленному нами расписанию, битую птицу понесут с «ледника» на кухню.

Мы обнаружили, что засов на дверях арсенала держится на честном слове, и, когда там никого не было, прогуливались внутри, трогали наручники и револьверы. Мы выяснили, что в каждой шлюпке имеются компас, парус, надувной плот и запас шоколадок – их мы, правда, со временем подъели. Мистер Дэниелс наконец-то поведал нам, где держит ядовитые растения: в огороженном закутке своего сада. Он показал нам *Piper neriifolium*, который «обостряет ум». Сказал, что вожди племен на тихоокеанских островах всегда жуют его, прежде чем начать важные переговоры о заключении мира. А еще там было кураре, росшее, можно сказать, в тайне, под мощной желтой лампой; мистер Дэниелс пояснил, что, попав в кровь, оно вызывает продолжительный транс с потерей памяти.

Было у нас и свое «неформальное» расписание, где день был расписан от момента, когда австралийка выходила перед рассветом кататься на роликах, до того подлунного часа, когда мы ждали под спасательной шлюпкой появления узника. Мы внимательно рассматривали его. На запястьях – железные обручи, сочлененные цепью длиной сантиметров сорок, чтобы можно было двигать руками. Ее запирает замок.

Мы молча следили за ним. Мы с ним никогда не общались. Вот разве что однажды ночью он вдруг приостановился и уставился сквозь мрак в нашу сторону. Мы-то знали, что он нас не видит. И все же он будто бы ощущал наше присутствие, чуял наш запах. Два охранника нас не заметили, заметил лишь он. Внезапно рыкнул и отвернулся. Нас разделяло метров пятнадцать, на нем были наручники, и все равно мы перепугались.

Заклятие

Если отчеты о нашем путешествии в Англию и попали в тогдашние газеты, то только потому, что на «Оронсее» находился известный филантроп сэр Гектор де Сильва. Он взшел на борт в сопровождении своей свиты, состоявшей из двух врачей, одного знахаря, специалиста по аюрведе, юриста, жены и дочери. Они по большей части плыли в верхних эшелонах нашего лайнера и редко

попадались нам на глаза. Ни один из них не принял приглашения отобедать за капитанским столом. Похоже, они были выше даже этого. При этом сэра Гектор, предприниматель из Моратувы, сколотивший состояние на самоцветах, каучуке и продаже земли, страдал опасным, возможно даже смертельным, заболеванием и плыл в Европу искать врача, который сумеет его спасти.

Ни один специалист-англичанин не согласился приехать в Коломбо и заняться его лечением, хотя за это предлагалось изрядное вознаграждение. Харли-стрит так и осталась на Харли-стрит, несмотря на все призывы британского губернатора Геркулеса Робинсона, который ужинал с золотых тарелок в особняке сэра Гектора в Коломбо, и даже на то, что сэру Гектору пожаловали в Англии рыцарское звание – за его жертвования на благотворительность. И вот теперь он сидел, как в коконе, в огромном двойном люксе на борту «Оронсея» и страдал водобоязнью.

Поначалу болезнь сэра Гектора не вызывала у нас ни малейшего интереса. За «кошкиным столом» вообще редко упоминали о его присутствии на борту. Слава его зиждилась на его огромном состоянии, а это как раз нас совсем не занимало. Наше любопытство воспламенило другое: что именно сподвигло его на это странствие?

А дело было так. В одно прекрасное утро Гектор де Сильва завтракал с друзьями на балконе своего особняка. Они перешучивались – так развлекаются в своем кругу люди, живущие в безопасности и достатке. В этот момент мимо дома проходил почтенный баттарамулла, монах-священник. Завидев монаха, сэра Гектор решил скаламбурить и произнес:

– А, вон идет муттарабалла.

«Муттара» означает «мочиться», «балла» – «собака». Получилось: «Вон идет собака, источающая мочу».

Замечание вышло остроумное, но бестактное – тем паче что речь шла о святом человеке. Монах, расслышавший это оскорбление, приостановился, указал на сэра Гектора и проговорил:

– Будет тебе муттарабалла...

Засим достопочтенный Шри Сибхути, владевший, как утверждали, колдовством, направился напрямик в храм и пропел несколько мантр; судьба сэра Гектора де Сильвы была решена, его процветанию пришел конец.

Уже и не помню, кто поведал нам начало этой истории, но у нас с Кассием и Рамадином немедленно разгорелось любопытство, и миллионер, путешествующий «королевским классом», занял все наши мысли. Мы начали вызнавать о нем все что можно. Я даже написал своей якобы «опекунше» Флавии, принес записку, после чего она удостоила меня короткого свидания у входа в первый класс и сообщила, что решительно ничего не знает. Была она раздосадована – в записке говорилось, что речь идет о чрезвычайно срочном деле, и она ради этого оторвалась от крайне важной партии в бридж. Вся беда состояла в том, что за «кошкиным столом» на эту тему не особо распространялись. Недостаточно, с нашей точки зрения. Кончилось тем, что мы подступились к младшему пассажирскому помощнику (у которого, как заметил Рамадин, был стеклянный глаз), и он поведал нам еще кое-что.

В августе, вскоре после истории с мимохожим монахом, сэр Гектор спускался по лестнице своего особняка. (Младший помощник употребил выражение «сходил вниз по ступеням».) У подножия лестницы дожидался его терьер. В этом не было ничего особенного – песика обожала вся семья. Но тут, едва сэр Гектор нагнулся, ласковый и довольно игривый песик вдруг попытался вцепиться ему в шею. Сэр Гектор оттащил его, и по ходу дела был укушен в правую руку.

Собаку в конце концов изловили и посадили на цепь. А тем временем доктор Фернандо, родич филантропа, обработал укус. Оказалось, что терьер с самого утра вел себя странно – носился по кухне, путался под ногами у слуг, после чего его изгнали с помощью метлы; он вернулся в самый последний момент, тихий и спокойный, и уселся у лестницы поджидать хозяина. Утром он никого не покусал.

Под конец дня сэр Гектор, проходя мимо конуры, погрозил терьеру забинтованным пальцем, а через двадцать четыре часа пес издох, причем у него проявились все симптомы бешенства. Однако «собака, источающая мочу» успела совершить предначертанное.

Врачи приходили один за другим. Все почтенные эскулапы Коломбо были призваны для консультаций и поиска исцеления. Сэр Гектор считался самым богатым человеком в городе (за исключением нескольких подпольных торговцев оружием и драгоценными камнями, которые не афишировали своих состояний). В длинных коридорах особняка врачи переговаривались шепотом, отстаивая и уточняя свои методы борьбы с водобоязнью, которая уже начала разъедать находящееся наверху состоятельное тело. Благодаря поддерживающим процедурам, развитие болезни затормозилось – пациент получил отсрочку дней на двадцать пять. Терьера эксгумировали и еще раз проверили на бешенство. В Брюссель, Париж и Лондон полетели телеграммы. На «Оронсее» – ближайшем судне, отплывавшем в Европу, – на всякий случай забронировали все три каюты класса люкс. Лайнер делал остановки в Адене, Порт-Саиде и Гибралтаре – рассчитывали на то, что в одном из этих портов на борт наконец-то взойдет специалист.

Существовало и противоположное мнение: что сэру Гектору предпочтительнее остаться дома, ибо в тяжелых условиях плавания, да еще при отсутствии надлежащей медицинской помощи, состояние его может ухудшиться; помимо прочего, судовой врач, как правило, не являлся первостатейным специалистом – эти обязанности исполнял какой-нибудь интерн лет двадцати восьми, у родителей которого имелись связи в судовой компании. Кроме того, из округа Моратува, где уже свыше века находилось фамильное поместье де Сильва, начали прибывать знатоки аюрведы – они, как утверждали, уже многих вылечили от водобоязни. Они гнули свое: оставаясь на острове, сэр Гектор будет иметь доступ ко всем самым действенным местным растительным снадобьям. Они с пылом возглашали (на древних диалектах, знакомых ему с юности), что путешествие только отдалит его от этих источников исцеления. Поскольку причина заболевания была местного происхождения, и лекарство от него надлежало искать здесь же.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Пер. А. Кривцовой.

2

«Yes! We Have No Bananas» – популярная песня Фрэнка Сильвера и Ирвинга Кона из бродвейского ревю «Make It Snappy» («Давайте-ка поживее», 1922).

3

Не в смысле майна/вира, а майна – говорящий скворец (*Acridotheres*).

4

«From Natchez to Mobile, from Memphis to St. Joe» – из песни «Blues in the Night», написанной Гарольдом Арленом и Джонни Мерсером в 1941 г. для одноименного киномюзикла.

5

«I took a trip on a train and I thought about you» – из популярной песни Джимми ван Хойзена и Джонни Мерсера «I Thought about You» (1939).

6

«Hong Kong Blues» – песня Хоаги Кармайкла, написанная им в 1939 г. и фигурирующая в фильме Говарда Хоукза «Иметь и не иметь» (1944), экранизации одноименного романа Э. Хемингуэя (в главных ролях – Хамфри Богарт, Лорен Бэколл).

7

Строго говоря, это уже римское название; у греков такие корабли назывались триерами.

8

Имеется в виду Гай Кассий Лонгин, составивший с Марком Юнием Брутом заговор против Гая Юлия Цезаря.

9

Ветхий Завет. Книга Судей Израилевых, 14:14.

10

Джорж Гиссинг (1857–1903) – англійський письменник натуралістического напрямлення.

Купити: https://tellnovel.com/ondatzhe_maykl/koshkin-stol

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)